

DOI 10.5862/JHSS.232.14
УДК 801.73

С.А. Троицкий

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДЛИННОСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В статье предпринята попытка интерпретации детской литературы с точки зрения философских экзистенциальных категорий. Опираясь на историю о доверии польскому педагогу Янушу Корчаку (1878–1942) со стороны детей-сирот из основанного им приюта даже в самые критические моменты, автор задается вопросом о том, на какой основе выстраивалось такое доверие. Для описания предлагается термин «подлинность» как наиболее точный. Однако «подлинность» не всегда совпадает с «правдивостью» и «истинностью», поскольку отражает не столько сущность мира, сколько канал (способ) трансляции картины мира, поэтому «подлинность» противоположна не «лжи» или «неправде», а «фальши». Подлинность и фальшь свойственны способу предъявления картины мира, в этом смысле они могут быть обнаружены в литературе, кино и т. д. С учетом детской чувствительности к фальши как сущностной психологической характеристики состояния детства выдвигается тезис о наибольшей явности фальши именно в детской литературе, детском кино и т. п. Предполагается существование онтологической подлинности, которая является характеристикой восприятия бытия, особенно четко проявляющейся у ребенка.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА; ПОДЛИННОСТЬ; ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ; КОРЧАК; ЛОЖЬ.

Передо мной черно-белая фотография, на которой уже немолодой мужчина с бородкой, идущий по улице в окружении веселых детей разного возраста. В руках у детей цветы, игрушки, флаг. Судя по всему, идут они бодро, быстро, вдохновенно. Меня удивило воодушевление, схваченное фотографом, вернее оператором (как я узнал несколько позже, чем увидел эту фотографию). Это кадр из фильма, снятого Анджеем Вайдой в 1990 г. Но режиссер окружает главного героя детьми вовсе не для того, чтобы реализовать хорошо известный в кино художественный прием-штамп передачи всеобщей любви к герою, Ваида с документальной точностью пытается восстановить в фильме реальные события, сцена за сценой повторяя их по описанию современников и очевидцев: «Люди замерли, точно перед ними предстал ангел смерти... Так, строем, по четыре человека в ряд, со знаменем, с руководством впереди, сюда еще никто не приходил» (И. Неверли). «Началось шествие, какого никогда еще до сих пор не было. Выстроенные четверками дети. <...> Даже вспомогательная полиция встала смир-

но и отдала честь. <...> „Что это?!“ – крикнул комендант. „Корчак с детьми“, – сказали ему, и тот задумался, стал вспоминать, но вспомнил лишь тогда, когда дети были уже в вагонах» (Э. Рингельблюм) [См.: 11].

Именно так, бодро, с непреодолимой твердостью, Януш Корчак вместе с детьми шли к вагонам для отправки из варшавского еврейского гетто в Трешлинку, лагерь смерти, где в 1942 г., отказавшись от спасения вопреки уговорам друзей, он был сожжен вместе с детьми из своего приюта. «Это был не обычный марш к вагонам, это был организованный немой протест против бандитизма!..» – писал об этом событии один из друзей доктора [Там же]. Вероятнее всего, мысли и чувства Корчака во время этого, последнего, марша были сходны с теми, которые были у *Старого Доктора* (псевдоним Януша Корчака), когда он с самого начала оккупации Варшавы немецкими войсками стал носить свой старый мундир офицера медицинской службы польской армии, мундир, который до оккупации он терпеть не мог. Это был протест, опасный для жизни, протест, характерный для Корчака,



протест против онтологического зла. Можно представить, что чувствовал Януш Корчак, но сложно понять, что переживали дети во время этого марша. Сложно представить, что мог сказать детям директор приюта, чтобы они последовали за ним с таким воодушевлением. Что бы ни было им сказано, это пример безусловного доверия со стороны детей, вызванного существованием в режиме подлинности.

«Ребенок не глуп; дураков среди них не больше, чем среди взрослых» [7, с. 22], — писал Януш Корчак в 1929 г. Недостаточность знания компенсируется другими способами постижения бытия. Ребенок может получать достоверное онтологическое знание даже вне интеллектуализма, детский способ — это схватывание подлинности, а через нее и бытия.

Данная статья не является историко-философской, она посвящена не концептуальным различиям между немецкими (Хайдеггер, Ясперс) и французскими (Камю, Сартр) экзистенциалистами, поэтому, помня об этих различиях, оставлю их за рамками дальнейших рассуждений. Более того, позволю себе несколько отойти от терминологии, принятой в экзистенциальной философии, предложив новые термины, как кажется, более точно описывающие концептуальное содержание рассматриваемых здесь явлений.

Итак, вспомним экзистенциальное учение о бытии человека, которое может быть подлинным, а может быть неподлинным. К подлинному бытию относится бытие, за которое ответственен сам человек, выстраивающий себя, реализующий свой собственный проект, готовый противостоять обстоятельствам, готовый к смерти для утверждения собственной жизни, т. е. для того, чтобы быть человеком, оставаться собой, несмотря на политическую или иную конъюнктуру, оставаться собой особенно тогда, когда это неудобно, больно, некомфортно. Нахождение в предельной ситуации высвечивает, оттеняет подлинность человеческого существования и бытия в целом. Именно на фоне предельного напряжения, когда невозможным становится в одинаковой степени и существование, и несуществование, и бытие, и небытие. Для взрослого человека достижение этого предельного состояния есть единственный способ утвердить себя и почувствовать «зов бытия»

(Хайдеггер), но для ребенка, имеющего иную систему чувственного постижения (речь не о непосредственном восприятии органами чувств), иную настройку на «зов бытия», иной аппарат чувствительности, бытие и индивидуальное существование неразличимы. Ребенок пребывает в условиях постоянного онтологического шума, как фона для его существования, для его становления (в этом смысле интересно вспомнить учение Ж.-Ж. Руссо об онтологической предпочтительности естественного состояния). Конечно, с детства ребенок воспитывается, т. е. ему прививаются навыки быть таким, как другие, навыки переживания неподлинного бытия, но именно они позволяют ему потом достигать преодоления, чтобы стать свободным, т. е. достигать онтологической подлинности. Детское переживание бытия отличается от взрослого тем, что ребенок существует в состоянии постоянного предела, является собой без необходимого для взрослого допинга ответственности, адреналинового допинга, ощущения опасности. Таким образом, в случае с детской литературой, детской музыкой, детской живописью, детским театром мы сталкиваемся с собственно философским содержанием, категориями подлинности, экзистенции в чистом виде. Здесь стоит оговориться, что под термином «детская литература» (театр, музыка и т. п.) я понимаю литературу, которая настроена на чувствительный аппарат постижения бытия, хотя не обязательно предназначена для детей автором, а не только ту, что пишется специально для детей.

But it's the truth even if it didn't happen.

Ken Kesey. One Flew Over The Cuckoo's Nest

Истина имеет весьма небольшое отношение к подлинности. Наиболее точным антонимом для подлинности, думается, выступает не ложь, а фальшь. Вариаций ее может быть сколько угодно, но они практически не имеют отношения к гносеологической проблематике, нормативному дискурсу (как в случае с правдой — справедливостью), социальным практикам или конвенциональности. Неистинное может обладать характеристиками онтологической подлинности, а истинное, наоборот, так же как и правда, может быть онтологически неподлинным, а ложь — подлинной. Хорошо иллюстрируют это слова, взятые в качестве эпиграфа.

Как аналогию можно вспомнить примеры функционирования подлинных и фальшивых денежных купюр, которые до определенного момента функционируют параллельно в качестве денежных знаков. «Фальшивки», влияя на макроэкономические показатели в целом в процессе своего функционирования, не могут никаким образом повлиять на стоимость конкретной купюры, ее стоимостное достоинство, символическую ценность. Пущенная в оборот, любая фальшивая купюра функционирует как подлинная до определенного момента, «момента истины», когда в силу понятных причин совершенно теряет покупательскую способность. При этом оказывается, что и подлинная купюра ничем не может повлиять на стоимость, покупательскую способность нераскрытой «фальшивки»

Вероятно, существует некая онтологическая или экзистенциальная фальшь, противоречащая существованию и бытию. В случае с детьми встреча с такой экзистенциальной фальшью оборачивается не взрослением, а потерей детского ощущения бытия, в котором онтологически подлинным для ребенка является любое событие. Даже самая простая, с точки зрения взрослого, проблема ощущается ребенком как онтологическая, практически неразрешимая, а потому подлинная, так как решение ее приводит к укоренению человека в бытии, очеловечиванию. Решение этой проблемы делает ребенка сильнее, самостоятельнее. Разве это не преодоление вызова бытия? Ответственность за каждое преодоление осознается как личная ответственность. Но столкновение с онтологической фальшью делает фальшивым, а значит, невозможным взросление, так как проблема, которая должна быть очередным шагом к взрослению, оказывается, чаще всего благодаря окружающим ребенка взрослым, пустой, т. е. не имеющей решения, не предполагающей решения, являющейся ничем. Результатом этого становится существование человека, не способного противостоять стихии, преодолевать преграды, а посему не способного осознавать или чувствовать себя индивидуальностью, выйти за пределы социального инкубатора с его коллективным телом и разумом, заменяющим индивидуальный, не способного быть Человеком. Конечно, такой человек способен на Поступки в условиях социальной истории, но не способен на них в условиях один

на один с ситуацией. Чувственный механизм, не настроенный на восприятие онтологической подлинности, испорченный фальшью, в большинстве случаев заставляет человека за функциями, должностными инструкциями, погонами и прочим прятаться от бытия, от принятия личной ответственности за преодоление, от противостояния Системе как машине фальшивого воспроизводства бессодержательности, повседневного повторения пустого (Ничто), на которое даже задним числом можно нанести любое содержание. Таким образом, перед нами старая проблема, поставленная С.Н. Булгаковым [4] по совершенно иному поводу: что имеет характер подлинной жизни, единокатное или повседневное Преодоление? В первом случае Поступок (в экзистенциалистском смысле), выступающий как подвиг, геройство, является той точкой, после которой дальнейшая жизнь теряет смысл. Во втором – Поступок в форме подвижничества есть единственный способ сохранения человеком себя, сохранения собственной сущности. В первом случае Поступок – это способ марксистского отчуждения, во втором – единственный способ эмансипации.

Приведенные в начале статьи свидетельства очевидцев о том, как отправляли в Треблинку Я. Корчака и его Сиротский дом, могут быть и приукрашены, вымышлены, но от этого они не перестают передавать подлинность [См. комментарии к этому мифу: 8, с. 6–20]. Вполне возможно и даже вероятнее всего, отправка была до отвращения более прозаична и даже механистична.

«Воздух был пропитан какой-то безграничной инертностью, апатией, машинальностью жестов. Отправка Корчака никого не тронула, никто не воздавал ему почестей (как это иногда рассказывали), и совершенно точно никак не вмешался Юденрат. К Корчаку никто не подходил. Особого движения не было и в рядах детей, не было песен, головы не были гордо подняты. Не помню я и флага детдома, который, как рассказывают, реял во главе колонны. Стояла ужасающая тишина, тишина отчаяния. Съездившийся Корчак шел через силу, время от времени что-то бормоча. Когда эта сцена предстает перед моими глазами (она меня редко покидает), мне кажется, я слышу, как он бормочет: „Почему?“ Я был достаточно близко, чтобы услышать его. Может быть, этот голос – плод моего позд-



нейшего воображения. Во всяком случае, там было не до философских размышлений, это был момент тупого и беззвучного отчаяния — без тех вопросов, на которые нет ответов. <...> По площади метался служащий Юденрата. Теперь я знаю, что это был Нахум Ремба, который, конечно же, знал Корчака и сразу к нему подошел. Ремба рассказывает (это единственное подлинное свидетельство очевидца было опубликовано в сборнике Рингельблюма), что он, ни на что не надеясь, предложил Корчаку пройти вместе с ним в контору Юденрата, где думал „заступиться”. Теперь мы знаем, что это было бы совершенно бесполезно, но Корчак отказался, потому что ни на минуту не хотел оставить детей» [10, с. 57–58].

Такое описание гораздо более правдоподобно, но ничуть не изменяет того Человека, который является объектом описания, — Януша Корчака. Нет ни капли сомнения в том, что и в первом, и во втором случае речь идет именно о нем, о том, кто не просто способен совершить поступок, но совершает его постоянно.

В случае с детьми заложенная в литературном тексте или другом произведении фальшь гипертрофируется. Чувствительность, обостренный слух, вызванный постоянным онтологическим шумом, фиксируют эту фальшь. Другими словами, проблема уважения автора к аудитории в ситуации с детской литературой усиливается, обостряется. Предположение некоторых литераторов о неразумности или глупости ребенка-читателя, утвердившееся в просвещенческой традиции назидательного детского текста, когда литературный текст воспринимается только с точки зрения его полезности для целей воспитания, оценивается его функциональность, приводит к отказу ребенка от этого канала. Литература воспринимается им как способ пустого информирования о чужом мире, который не может стать элементом личного опыта, а потому совершенно излишнего и скучного информирования. Наоборот, встреча в литературном тексте с онтологической подлинностью, обеспечивающей преодоление возникающих преград, делает этот текст интересным, привлекает читателя к дальнейшему чтению, при этом речь идет о личном преодолении, тогда ситуация преодоления становится элементом личного опыта, личной памяти, образцом для повторения и движения дальше.

«Поэт — это такой человек, который сильно радуется и сильно горюет, легко сердится и крепко любит, который глубоко чувствует, волнуется и сочувствует, — пишет Корчак. — И дети такие. А философ — это такой человек, который глубоко вдумывается и обязательно желает знать, как всё есть на самом деле. И опять дети такие» [6, с. 375].

Если взрослый, переживая преодоление, продумывает и представляет, т. е. обходится интровертными способами обработки получения опыта, то дети, как правило, нуждаются в неоднократном буквальном проигрывании ситуации, ее тактильном освоении, экстравертировании личного опыта. Но именно этот опыт является опытом соприкосновения с бытием, подлинность которого не вызывает сомнения. Тактильная связь с миром, тактильно же и экстравертируется (обнаруживается, овнешняется) при воспроизведении-повторении ситуации — особенно предельной, критической (например, связанной со смертью) — с помощью проигрывания или проговаривания.

«Это рассказ пятилетнего Виктора. Рассказ этот трудно понять, потому что Виктор спешил, и, когда он говорил о том, как солдат убивал собаку Фокса, у него даже слезы выступили на глазах.

“Яблоки — я вижу яблоки — маленькие такие — а деревья такие большие — можно лечь и качаться — и был такой песик — и как одно яблоко упадет! — а он лежит и спит — мама пошла — а я хочу сам — и там стул — а песик — какой-то другой песик — и так его укусил — зубы у него острые-преострые — значит, спит он, а он его укусил — песика надо побить за то, что он его укусил — а там хозяйка — а у него такие зубы — я забыл, его звали — Фоксом его звали — и он укусил — кр-р-овь! — он грыз кость — Фокс, пшол, пшол вон — а он вытаращил глаза и укусил — я бросил ему яблоко — сорвал с дерева и далеко бросил — жесткое такое, а сладкое, как не знай что — а он только понюхал — а потом пришел солдат — бац в песика — бац, такой славный — славный — славный”» [Там же. С. 375–376].

Джон Боулби в результате многолетнего междисциплинарного исследования детской психологии в условиях взаимодействия с воспитателем (cage-taker) среди прочих открытий пришел к выводу о том, что дети переживают печаль (горе) гораздо острее, чем взрослые.

Сила переживания прямо пропорциональна возможности его экстравертирования посредством обсуждения, однако дети, не умеющие еще формулировать проблему, выводить ее на словесный, а значит, структурный уровень, оказываются с ней один на один. Неспособные проговорить ее, они вынуждены в ней находиться [1, 3]. Предельная ситуация, ситуация, когда человек оказывается перед необходимостью видеть границу бытия и небытия, выбрасывает человека из состояния равновесия и порождает экспрессивность («оголенность нервов», состояние «без кожи») восприятия и высказывания. Доведение до предела или запредельности (абсурда) вызывает у читателя либо смех, либо слезы. В предельной ситуации ничего нет, кроме бытия и его предела, здесь бытие оттенено небытием, граница четкая, подлинная. Взрослый, променявший чувствительность на комфортную чувственную непоколебимость, знает, как «правильно себя вести», но ребенок находится на границе, ощущает ее.

«Когда мой брат умер от тифа, я побежал на кладбище, искал его труп в груде брошенных там тел, нашел, прижал к себе и громко звал его по имени» [10, с. 56].

Ничего нет, что могло бы заслонить от этой бездны, от этой границы, переход через которую ощущается в каждый конкретный момент как здесь и сейчас: нет автоматизма повседневного повторения – предельная ситуация экстраординарна, нет авторитета – никто не преодолет границу вместо меня, правила не действуют – любое решение одинаково верно и неверно одновременно, поэтому ответственность лежит на каждом собственная. Если находятся слова для описания собственного опыта предельного состояния, собственного переживания встречи с Ничто, то слова эти – заведомо экспрессивны. Поэзия пользуется подобной экспрессивностью как инструментом для воздействия на чувствительность читателя (слушателя), и эта экспрессивность коррелируется с предельным состоянием и подлинностью. Неудивительно, что Корчак трактует рассказ Виктора как поэзию. Это характерно не только для экспрессионизма – экспрессивность не является его стилистической особенностью. Мы можем отметить экспрессивность поэтического языка независимо от стиля и автора. При этом именно предельные ситуации

(ожидание ареста, арест, война, смерть и др.) как контекстуальный фактор для написания стихотворного произведения усиливают экспрессивность формы выражения.

В предельной ситуации подлинность, о которой идет речь, нейтрализует механизмы отчуждения сущности, описанные в марксизме. В условиях повседневного социального существования человека отчуждение подобно возвращению процентов по кредиту доверия со стороны социальной среды или взносу за вступление в закрытое сообщество, человек вынужден соглашаться с отчуждением различных сторон своей сущности, взамен получая возможность быть социальным животным, и чем сильнее социализация, тем глубже компромисс (больше отчуждение). Комфортность социального неответственного существования, вызванного ощущением включенности на правах части в большое целое, принимающее всю ответственность на себя, разрушается предельной ситуацией. Она противопоставляет человека социуму, заведомо делая проигравшим, выбрасывает в поле ответственного поведения, что фактически отменяет необходимость платить согласием на отчуждение («платить по счетам»), выбрасывает человека в досоциальное положение новорожденного, ребенка.

Искусство, литература начала XX в., используя инструменты экспрессивного воздействия на человеческие чувства, воспроизводя в гипертрофированном виде предельную ситуацию, моделирует такой выброс в поле ответственного поведения. В свою очередь, детская литература оказывается способом моделировать ситуацию игрового гипертрофирования, т. е. проигрывает ситуацию, но подчеркивая ее игровой характер, внешний по отношению к читателю и автору. Тогда и предельная ситуация оказывается «невзаправдашняя», понарошку, – овнешненная, она не воспринимается как своя [См. об овнешнении боли в блокаду с помощью дневников и литературы: 9]. Происходит снижение пафоса, аннигиляция серьезности, характерные для детской литературы. Это снижение есть обращение не к вымышленному чужому миру, к светлому будущему, а к своему родному, повседневному, тому, с чем мы имеем дело постоянно, иногда – к «низменному» (по Бахтину), которое в случае соседства с «высо-



ким» делает его пустым, незначительным, элементом кукольной жизни, маркирует его как псевдовысокое. Но именно это придает литературному тексту достаточную подлинность, чтобы вызывать доверие у читателя. Читатель оказывается в ситуации, когда перед ним псевдовысокое, но оно подлинно именно благодаря своей *псевдоприроде*. В этом смысле подлинность — результат отказа от серьезности, истинности, наставительности и морализаторства. Такое снижение, делающее текст подлинным, но с помощью утрированной правильности, утрированного пафоса маркирующее мир героев как ненастоящий (ложный), является основой детской книги, причем на всем протяжении времени существования такого явления, как детская литература. Например, у Т. Янссон герои «на этот раз <...> пили чинно, все вместе и даже чашки поставили на блюдечки» [13, с. 869], а усилительная частица «даже» в этом случае (частица, даже не часть) делает ситуацию усиленной до абсурда, как будто ставить чашки на блюдечки — это то, что требует специального напряжения. Или у А. Барто лирический герой заявляет о чрезмерных усилиях: «До чего же я старался! / Я с девчонками не дрался...» [2].

Искусство и литература овнешняют, экстравертируют собственный опыт читателя, моделируя ситуацию, благодаря образу Другого. Этот собственный опыт читателя (опыт героя понятен благодаря сходству с собственным экзистенциальным опытом читателя) вместе с тем является опытом чужим, потому что овнешнение позволяет видеть его со стороны. Одновременно с этим овнешнение собственного опыта в литературе и искусстве — это инвариант мифологического создания образцовой модели поведения (образцом является как то, как нужно, так и то, как не нужно себя вести в той или иной ситуации, т. е. положительный и отрицательный образец), а также санкционной модели реагирования среды (бытия) на нарушение положительного образца поведения. То же самое происходит и в детской литературе, собственно развивающейся как самостоятельное явление совсем недавно (имеется в виду — не как инвариант взрослой литературы). Пожалуй, лишь с начала XX в., благодаря постепенному отказу педагогических школ от карательно-наставительной

практики воспитания (Корчак, Монтессори и др.) и признанию детства самостоятельным феноменом, приобретает самостоятельность и детская литература. Меняются фигура и функции нарратора. Если в классической наставительной литературе, предназначенной для детей, нарратор берет на себя роль проводника внелитературной нормативности, роль возвышающегося над действием и персонажами источника сюжета, подчиняя ей весь свой рассказ и персонажей, то в новой, начиная с XX в., детской литературе появляется новый нарратор, который рядоположен другим персонажам, им равен, и подчиняется тому развитию, которое задается внутренней нормативностью произведения, он вынужден учитывать создаваемое нормативное напряжение. В этом смысле новый нарратор имманентен тексту, а потому предстает для читателя как тот самый Другой, который экстравертирует собственный опыт читателя, а не претендует на роль автора жизни читателя, т. е. не стремится занять место читателя, но избежав при этом ответственности за навязанный выбор поведения, ответственности, которая полностью остается на читателе. Новый нарратор де-факто признает читателя в качестве самостоятельной, не подчиненной ему сущности, предполагая возможность подлинного существования читателя.

Попытка автора выйти за пределы имманентной тексту нормативности к транслированию «общечеловеческих», внешних сюжету норм, т. е. перейти к морализаторству, приводит к потере подлинности. Морализаторство может опираться на санкцию, но источником ее является что-то более сильное, чем инстанция-транслятор, а потому морализатор оказывается в ситуации, когда он не «отвечает за свои слова», не может совершить поступок. Такое смещение уровней повествовательности, смена позиции (роли, маски) нарратора, принятие им на себя функций и автора, и персонажа одновременно, приводит к тому, что и само повествование не имеет основания ни в тексте, ни в контексте, тогда совпадение ролей источника и транслятора нормативности снижает весомость сюжетной прагматики и художественную оригинальность (морализаторство выступает в этом случае как повторение набившей оскомину банальности), тогда и транслируемые нормы выступают для читателя как достояние текста,

при этом никакого отношения к повседневности не имеют.

Как правило, детские повествовательные художественные произведения выстроены как эпическая история событий, логика которых подчиняется не замкнутому нормативно-санкционному принципу, а разомкнутому принципу линейного повествования от события «А» к событию «Я». В этом они аналогичны волшебным сказкам, описанным В.Я. Проппом. Другими словами, все события связаны между собой, принадлежат к одному порядку явлений, одной цепочке причинно-следственных связей (цепочке «стимул – реакция»), а значит, к одному уровню онтологической и логической абстракции.

Альтернативной формой построения событийного ряда в литературном (прежде всего детском) произведении является нагромождение происходящих с персонажем событий, относящихся к разным онтологическим уровням и, следовательно, обращающихся к разным уровням читательской рефлексивности. События мало чем логически связаны между собой, а их организующий центр – сам персонаж, место, время или другой фактор. В этом смысле сборка текста происходит не по принципу «если, то» или «как, так», а по принципу «могло бы не быть, но случилось», т. е. событие никаким образом не вытекает из предыдущего, а скорее, противоположно обычному порядку событий. При этом ничего из данного события не следует логически, хотя онтологически любое из событий может завершить повествование. Конец текста в этом случае так же не закономерен, как и начало, и подчиняется принципу «могло бы не быть, но случилось».

На протяжении всей истории литературы такое построение текста мы находим в сатирическом фольклоре и пародийных текстах. Однако это лишь видимость. При внимательном рассмотрении становится ясно, что и структура, и функциональное распределение ролей внутри сюжета подчинялись первотексту, образцу, к которому они встают в оппозицию, подвергая его сомнению, какие бы претензии на право быть источником нормативности этот первотекст ни выказывал. Находящийся в оппозиции к нему текст возвращает ему статус только литературного, меняет уровень его функционирования

в культуре. В силу своей заведомой литературности, а потому – «непритязательности», «игрушечности» (по сравнению с первотекстом), нормативность оппозиционного текста, наследуемый им от первотекста пафос остаются имманентными повествованию. Такое положение дел придает оппозиционному тексту состояние подлинности.

Уничтожение пафоса, претензий на онтологическую значимость для существования субъекта приводит к тому, что ничего, кроме подлинности, не остается.

Приведенный в качестве маргинальной аналогии пример с денежными купюрами может быть здесь развит, если вспомнить различные арт-опыты с подлинными купюрами (Владимир Толстый, Джеймс Чарльз, Вон Парк и др.), когда сама исходная стоимость, выраженная в достоинстве конкретной купюры, не меняется (купюра остается подлинной), но подвергается сомнению, осмеянию сама система функционирования денежных знаков. Купюра освобождается от символических наслоений, ей возвращается первоначальная сущность, определяемая материалом, из которого она сделана: «Деньги – это бумага» (Л. Фёдоров), из которой можно делать оригами или на которой можно рисовать. Таким образом, подвергается сомнению идея незаменимости, аннигилируется пафос, значимость денежных знаков, при этом факт того, что арт-объект сделан из купюры, заметно повышает его художественную ценность.

Преодолением доминирования первотекста, как и отказом от детерминанты в целом, оказывается второй русский авангард. За текстами, например, Введенского и Хармса никакого конкретного первотекста не прочитывается и нет. Нарратор перечисляет события, но это не алгоритм, не антология, не хронология, не путевые заметки, а скорее каталог. Порядок событий не детерминирован ничем ни внутри текста, ни вне его. В этом нет различий между взрослыми и детскими текстами обэриутов: есть начало, но конец – просто обрывающее «Всё» (это характерно и прозе, например «О явлениях и существованиях», «О равновесии», «О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил», и поэзии, например «...Где я потерял руку», «Иван Иванович Самовар», «Га-ра-ра!», «Странный бородач»,



«Миллион»), есть санкция, но нет нормативности. Происходящее лишено внутренней логики, да и извне логику не найти. Такой уход от тоталитарной системы построения нарративов, от диктата принятой формы и прагматики речевых актов, позволяет отказаться от доминирования рациональности, сделать происходящее гносеологически пустым, но онтологически точным. Автор, описывая события, не является их творцом. При этом поскольку именно эти события, случайные по своему модусу, определяют персонажа, набор событий, случающихся с персонажем, делает его отличным от других персонажей, наделяет его лицом, постольку автор не является и творцом персонажа. Хармс, Введенский, Заболоцкий не вводят авторских сущностных характеристик персонажей, а если и вводят, то эти характеристики самим повествованием подвергаются сомнению на всем его протяжении.

Фактически обэриутский в целом и хармсовский в частности способ выстраивания пространства и времени не подчиняется плоскостно-линейной конструкции, нумерологической (цифровой) системе координат, которая является основой для порожденного просвещенческим сциентизмом научного способа восприятия и интерпретации. Несмотря на протест против сложившегося социального пространства, социальной структуры, авторитетов, являющихся своего рода максимальными показателями этой структуры (аналогом цифровых значений в математике), первый авангард, в отличие от второго (обэриутов), сам предстает как элемент этой структуры, поскольку протест против структуры уже выступает признаком факта ее признания в качестве детерминанты. Неудивительно, что в детской литературе до чинарей, до ОБЭРИУ действует изнанка тех форм и способов, против которых выступал первый авангард. В «Признаниях старого сказочника» К. Чуковский, описывая свою творческую манеру стихосложения для детей, указывает на основные способы работы с языком, ритмом, топикой, характерные для первого авангарда. Чуковский признает и важную роль заумного языка как литературного приема для создания детской сказки [12]. А если вспомнить инфантилизм, в котором так аргументированно Чуковский обвиняет поэтов первого авангарда [5], неудивительным кажется и то, как легко трансформируется авангардная

стратегия работы с текстом в детскую эпическую, и наоборот. Чуковский, с одной стороны, принадлежит к классической литературной формации, а с другой — используя авангардные стратегии текстографии, расставляет приоритеты в соответствии с классическим противопоставлением Бога и дьявола, которые стоят за героями, функционально присутствуют в тексте в скрытом или явном виде, определяя выбор стратегии поведения персонажа.

Хармс и обэриуты демонстрируют среду, где демонтированы как Бог (реализована ницшеанская идея о смерти Бога), так и дьявол (признается основополагающей фрейдистская идея об имманентности источника греха и соблазна). Подобный демонтаж ориентиров создает для персонажей нормативный вакуум, в котором существуют только санкции, применяемые непонятно за что, но всегда легитимно. Такая ситуация заставляет принимать на себя всю полноту ответственности за свои поступки. Это совершенно аналогично детскому ощущению в процессе воспитания, когда наказание всегда оправданно, но не вполне ясно, за что. У детей в процессе взросления и воспитания формируются ориентиры, и от существования в среде, где отсутствует нормативность, они переходят к существованию в социальной структуре, определенной системе отношений, где действуют авторитеты. Другими словами, свое место в сознании ребенка Бог и дьявол занимают постепенно в процессе воспитания. Однако в этом процессе вместе с уточнением системы норм, приобретением нормативной определенности происходит и смягчение санкции за нарушение норм, и формируются стратегии ускользания от ответственности, чего нет в раннем детстве, там ответственность принимается во всей полноте. Хармс и обэриуты конструируют такую ситуацию, когда ответственность присутствует во всей полноте как для персонажей, так и для читателя, а значит, читатель и персонажи вынуждены ощущать на себе всю подлинность собственного бытия.

Как соотносится инфантильность, часто называемая характеристикой современности, с описанной проблемой подлинности? «Уход в детство» с помощью компьютерных игр, комиксов, квестов, мультипликации, которые принято считать относящимися к миру детства, про-

тивнопоставленному миру взрослых. Созданный миф о разделении миров позволяет маркетологам продвигать товары, созданные для взрослых, с помощью отнесения их к детским. Детская литература покупается преимущественно взрослыми, потребляется взрослыми. Конечно, здесь важную роль играет компенсаторная функция (компенсировать то, чего не было у взрослого в детстве), но не только она. Веро-

ятно, именно иллюзия подлинности детского состояния вызывает желание убежать в детство. Миф о двух мирах наделяет мир взрослых как раз тем, что экзистенциалисты описывают неподлинным бытием.

Однако может ли быть подлинным существование в «чужой шкуре», когда взрослый идентифицирует себя с не-взрослым, хотя бы даже и временно?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bowlby J. Attachment and Loss. Vol. III. Loss, Sadness and Depression. L.: Hogarth, 1980. 462 p.
2. Барто А. Снегирь. URL: <http://narodstory.net/stikchi-barto.php?id=75> (дата обращения: 25.08.2015).
3. Боулби Дж. Разлука и утрата внутри семьи // Создание и разрушение эмоциональных связей. М.: Академ. проект, 2004. С. 118–146.
4. Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Христианский социализм (С.Н. Булгаков): Споры о судьбах России. Новосибирск: Наука (Сиб. отд-ние), 1991. С. 138–178.
5. Гаспаров Б.М. Мой до дыр // Новое лит. обозрение. 1992. № 1. С. 304–319.
6. Корчак Я. Правила жизни // Как любить ребенка. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 294–376.
7. Корчак Я. Право ребенка на уважение // Как любить ребенка. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 6–33.
8. Кочнов В.Ф. Януш Корчак. М.: Просвещение, 1991. 190 с.
9. Рогова Н.Б. Блокадный дневник: чтение и письмо как способ преодоления предельного состояния // Обретение смысла. Чтение и письмо как философская проблема. СПб.: Санкт-Петербургское филос. общ-во, 2014. С. 123–150.
10. Рудницкий М. Последний путь // Новая Польша. 2000. № 12. С. 55–58.
11. Хенрик Гольдшмидт (Януш Корчак). URL: <http://callofzion.ru/pages.php?id=401> (дата обращения: 01.06.2014).
12. Чуковский К.И. Признания старого сказочника // Жизнь и творчество Корнея Чуковского. М.: Детская лит., 1978. С. 159–182.
13. Янссон Т. В конце ноября // Всё о муми-троллях: повести-сказки. СПб.: Азбука, 2002. С. 777–877.

ТРОИЦКИЙ Сергей Александрович – кандидат философских наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета.

Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
e-mail: sergtroy@yandex.ru

S.A. Troitskiy

ONTOLOGICAL AUTHENTICITY AS THE BASIS CATEGORY OF THE CHILDREN'S LITERATURE

This article describes philosophical basis of the children's literature. There is offered its interpretation from existentiality point of view. What could the basis of children's absolute trust and full faith to Janusz



Korczak be when they was even sent to death? Author of the article asks this question at the first and offers the term “Authenticity” for answering it. This term is the most accurate because it describes the main characteristic of the existence. However, the “Authenticity” is not always like the “Truth” and the “Verity”. They relate to objectivity of the reality or compliance of our perception to real things but “Authenticity” relates to channel of broadcast of these things to us and relates to the way of translating real things to their images in our consciousness. That’s why this term is apparently opposite more to “flamity” or “fakeness” than to “falsity”. Example of these construct is correlation of fake coin and authentic (original) coin. Authenticity and flamity (fakeness) relate to channel of real world broadcast and forming of the worldview therefore these ones are found out in literature, cinema, etc. Children are sensitive much more to the fake and flam that’s why authenticity and fakeness (flamity) are clear in children’s literature and cinema, etc.

CHILDREN’S LITERATURE; EXISTENTIAL CATEGORY; KORCZAK; LIE.

REFERENCES

1. Bowlby J. Attachment and Loss. Of vol. III. Loss, Sadness and Depression. London, Hogarth, 1980. 462 p.
2. Barto A. *Snegir’* [Bullfinch]. Available at: <http://callofzion.ru/pages.php?id=401> (accessed 25.08.2015).
3. Bowlby J. [Separation and loss within the family]. *Sozdanie i razrushenie emotsional’nykh svyazey* [The creation and destruction of emotional ties]. Moscow, 2004. Pp. 118–146. (In Russ.)
4. Bulgakov S.N. [Heroism and asceticism]. *Khristianskiy socializm (S.N. Bulgakov): Spory o sud’bakh Rossii* [Christian socialism (S.N. Bulgakov): Disputes on destinies of Russia]. Novosibirsk, 1991. Pp. 138–178. (In Russ.)
5. Gasparov B.M. [Clean to the holes]. *New literary observer*, 1992, no. 1, pp. 304–319. (In Russ.)
6. Korczak J. [Rules of life]. *Kak lyubit’ rebenka* [How to love a child]. Ekaterinburg, 2005. Pp. 294–376. (In Russ.)
7. Korczak J. [The Child’s Right to Respect]. *Kak lyubit’ rebenka* [How to love a child]. Ekaterinburg, 2005. Pp. 6–33. (In Russ.)
8. Kochnov V.F. Janusz Korczak. Moscow, 1991. 190 p. (In Russ.)
9. Rogova N.B. [Blockade diary: reading and writing as a way of overcoming the limit state]. *Obretenie smysla. Chtenie i pis’mo kak filosofskaya problema* [The discovery of meaning. Reading and writing as a philosophical problem]. St. Petersburg, 2014. Pp. 123–150. (In Russ.)
10. Rudnitskiy M. [Final journey]. *Novaya Pol’sha* [New Poland], 2000, no. 12, pp. 55–58. (In Russ.)
11. Henryk Goldszmit (Janusz Korczak). Available at: <http://callofzion.ru/pages.php?id=401> (accessed 01.06.2014).
12. Chukovskiy K.I. [Old Storyteller’s Recognitions]. *Zhizn’ i tvorchestvo Korneya Chukovskogo* [Korney Chukovsky’s life and work]. Moscow, 1978. Pp. 159–182. (In Russ.)
13. Jansson T. [Moomin Valley In November]. *Vsyo o mumi-trollyakh* [All about Moomins]. St. Petersburg, 2002. Pp. 777–877. (In Russ.)

TROITSKIY Sergey A. — *St. Petersburg State University.*

Universitetskaya nab., 7–9, St. Petersburg, 199034, Russia

e-mail: sergtroy@yandex.ru